Поэтому птица в неволе поет

Автор:
Майя Анджелу

Поэтому птица в неволе поет

Майя Анджелу

Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в неволе поет» уже второй век меняет умы людей и своей мудростью помогает читателям переосмыслить собственную жизнь.

Майя Анджелу

Поэтому птица в неволе поет

18+

Иллюстрация на обложке: Анастасия Гальперина

I Know Why the Caged Bird Sings

Maya Angelou

Книга издана при содействии литературного агентства Anna Jarota Agency.

Originally published in hardcover in the United States by Random House, an imprint and division of Random House LLC, in 1969.

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения правообладателя.

Copyright © 1969 by Maya Angelou

Copyright renewed © 1997 by Maya Angelou

Foreword copyright © 2015 by Oprah Winfrey

All rights reserved.

© А. Глебовская, перевод на русский язык, 2020

© Издание, оформление. Popcorn Books, 2021

* * *

Посвящаю эту книгу

МОЕМУ СЫНУ ГАЮ ДЖОНСОНУ

И ВСЕМ ЧЕРНЫМ ПТИЦАМ,

СИЛЬНЫМ ТЕЛОМ И ДУХОМ,

которые, презрев все законы и препоны,

поют свои песни

Предисловие Опры Уинфри

Книга «Поэтому птица в неволе поет» в руки мне попала в пятнадцать лет. И стала для меня откровением. Я с третьего класса глотала книги одну за другой, но до того ни одна из них не говорила напрямую с моей душой. Она вызвала у меня трепет. Как так вышло, что автор, Майя Анджелу, пережила, испытала, перечувствовала, перестрадала всё то же, что и я – бедная чернокожая девочка с берегов Миссисипи?

Восторг у меня вызвали первые же страницы:

И чего ты смотришь на меня?

Я не насовсем – не жди чудес.

Я пришла сказать: Христос воскрес.

Я и была этой девочкой, которая декламировала стихи на Пасху – и на Рождество тоже. Девочкой, любившей читать. Девочкой, которую вырастила бабушка-южанка. Девочкой, которую в девять лет изнасиловали, которая в итоге потеряла дар речи. Я прекрасно понимала, почему Майя Анджелу молчала столько лет.

Каждое ее слово отдавалось в моем сердце.

На каждой странице меня подстерегали чувства и откровения, которые сама я не в силах была облечь в слова. Я думала: как так может быть, что эта женщина меня знает и понимает? «Поэтому птица в неволе поет» стала моим талисманом. В отрочестве я убеждала всех, кого знала, прочитать эту книгу. Майя Анджелу сделалась моей любимой писательницей – я боготворила ее на расстоянии.

И я знала, что не без вмешательства Провидения десять с лишним лет спустя меня, молодую журналистку из Балтимора, отправили взять у Майи Анджелу интервью после лекции в местном колледже. «Обещаю, – молила ее я, – обещаю, что, если вы согласитесь со мной поговорить, я не отниму у вас больше пяти

минут». Честно выполняя обещание, в 16:58 я велела оператору закончить сьемку. «Готово». И после этого Майя Анджелу повернула голову, склонила ее на сторону, улыбнулась с искоркой в глазах и спросила:

– Девочка, вы кто?

Сперва мы стали приятельницами, потом – ближайшими подругами. Когда она наконец сказала, что считает меня своей дочерью, я поняла, что обрела дом.

Сидя за ее кухонным столом на Вэлли-роуд в Винстон-Салеме, штат Северная Каролина, слушая, как она читает стихи – стихи моего детства, Пола Лоуренса Данбара, «Шоколадный малыш с искрою в глазах», – я понимала: нет на земле места лучше, чем у нее за кухонным столом или у ее ног, где можно перегнуться через ее колени, громко смеясь от всей души. Я впитывала знания, все то, чему она могла научить: великодушие, любовь и многое другое, – и с ней рядом сердце всегда переполнялось. Когда мы говорили по телефону, я почти неизменно записывала ее слова. Она постоянно чему-то учила. «Когда сам научился, учи, – любила она повторять. – Когда сам получил, отдавай». Я была прилежной ученицей и училась у нее вплоть до самого последнего нашего разговора – в воскресенье накануне ее смерти. «Я – живой человек, – любила она повторять, – а потому ничто человеческое мне не чуждо».

Майя Анджелу всегда проживала каждое написанное ею слово. Она понимала, что, делясь известными ей истинами, она вступает в круг великих человеческих истин, среди которых – упования, исступление, вера, надежда, изумление, предрассудки, загадки и, наконец, самопознание: понимание того, кто ты есть на самом деле, и высвобождение, к которому можно прийти через любовь. Каждая из этих вечных истин нашла себе место в этом первом автобиографическом рассказе о ее жизни.

Я счастлива (и знаю: счастлива и она), что целое новое поколение читателей теперь имеет возможность познакомиться с историей жизни Майи Анджелу – может, это даст им силы сделать и собственную жизнь более осмысленной.

И те, кто впервые открыл ее книгу (как я много лет назад), и те, кто в очередной раз пришел в гости к старому другу (как я теперь, когда вновь перелистываю эти страницы), обязательно заметят, что, даже будучи еще совсем молодым писателем, Майя уже обратилась к теме, которая постоянно звучит первой

скрипкой в этой книге, к теме, которая стала ее зовом трубы, к мантре, которая неизменно повторялась во всех ее речах, стихотворениях, трудах – и в жизни.

Она произносила эти слова гордо, веско и часто:

Сходства между нами больше, чем различий!

Эта истина раскрывает, почему все мы способны на сострадание, почему каждый из нас ощущает душевный трепет, когда птица в неволе поет.

Благодарности

Благодарю мою маму, Вивиан Бакстер, и моего брата, Бейли Джонсона, которые подтолкнули меня к воспоминаниям. Большое спасибо Гарлемской писательской гильдии за участие, а Джону Килленсу за то, что он сказал мне: ты умеешь писать. И Нане Кобине Нкеция IV, убедившему меня, что я писать обязана. Моя непреходящая признательность Джерарду Перселу, который поверил несокрушимо, и Тони Д’Амато, который все понял. Спасибо Эбби Линкольну Роачу за название моей книги.

И, наконец, я очень благодарна моему редактору из «Рэндом Хаус» Роберту Луису, который так аккуратно проторил мне дорогу назад к утраченному.

И чего ты смотришь на меня?

Я не насовсем – не жди чудес.

Нет, я не забыла – просто не могла заставить себя вспомнить. Были другие, более важные вещи.

И чего ты смотришь на меня?

Я не насовсем – не жди чудес…

Было совсем неважно, вспомню я остальные строчки стихотворения или нет. Правдой своей эти слова напоминали скомканный платок, сырой комочек в кулаке, и чем раньше с ними согласятся, тем быстрее я смогу раскрыть ладони – чтобы их остудил воздух.

И чего ты смотришь на меня?..

Детская площадка Методистской епископальной церкви для цветных ерзала, хихикая над моей всем известной рассеянностью.

На мне было пышное лавандовое платьице, оно шуршало при каждом вдохе, и, когда я набрала в грудь побольше воздуха, чтобы выдохнуть стыд, звук напомнил шелест крепа на заднике погребальных носилок.

Еще когда Мамуля пришивала оборки к подолу и закладывала чудесные складочки на талии, я поняла, что в этом платье буду выглядеть кинозвездой. (Платьице было из шелка, что искупало ужасный цвет.) Мне хотелось походить на миловидных белых девочек, в которых для всех воплощено правильное устройство мира. Платьице выглядело просто изумительным, когда свисало с черной машинки «Зингер»: вот увидят меня в нем, тут же подбегут и скажут:

– Маргарита (иногда мне слышалось: «Милая Маргарита»), прости, пожалуйста, что мы раньше не понимали, кто ты на самом деле.

А я великодушно отвечу:

– Ну откуда же вам было знать. Разумеется, я вас прощаю.

От одной этой мысли лицо мое на несколько дней припорошило ангельской пылью. Но утреннее солнце в день Пасхи выявило, что платье грубо и уродливо выкроено из некогда лилового наряда, который поносила и выбросила какая-то белая. И длиной оно было как у старухи, но при этом не прикрывало моих тощих ног, намазанных вазелином «Синий тюлень» и припудренных красной глиной из Арканзаса. На фоне выцветшей от времени тряпки кожа моя казалась грязноватой, а еще все в церкви пялились на мои тощие ноги.

То-то же они удивятся, если в один прекрасный день я проснусь от своего противного черного сна и на месте курчавых лохм, которые Мамуля не позволяет выпрямлять, появятся мои настоящие волосы – длинные, светлые! Их зачаруют мои голубые глазки, после всех этих «а папаша-то у ней, видать, из косоглазых был» (мне сразу представляются глаза, стоящие под углом) – потому что глаза у меня узкие, как щелочки. Тогда они наконец-то поймут, почему я так и не подцепила южный акцент, почему не говорю на общепринятом сленге и только под нажимом ем свиные хвосты и пятачки. Ведь на самом-то деле я белая, просто моя мачеха, злая фея, которая по понятным причинам завидовала моей красоте, превратила меня в слишком крупную девчонку-негритянку[1 - Здесь и далее в отдельных случаях слово negro переведено словом «негр», которое в русском языке стало просторечным (а многими считается оскорбительным) и используется как историзм. Архаизм «цветной» (colored) в отношении чернокожих в тексте также используется как историзм. – Здесь и далее примеч. ред.] с непослушными темными волосами, широкими ступнями и дыркой между зубов, куда влезает целый карандаш.

– И чего ты смотришь… – Жена священника наклонилась ко мне, на длинном желтом лице жалость. Дальше шепотом: – Я пришла сказать: Христос воскрес.

Я повторила, соединив все слова в одно: «Япришласказать Христосвоскрес», как можно тише. Хихиканье повисло в воздухе, подобно дождевым тучам, которые только и ждут, как бы пролиться вам на голову. Я подняла два пальца, возле самой груди, – знак, что мне нужно в уборную, – и на цыпочках двинулась в заднюю часть церкви. Где-то над головой смутно звучали женские голоса: «Благослови Господь дитя!» и «Слава тебе, Господи». Голову я держала прямо, а глаза – открытыми, однако ничего не видела. Я миновала половину нефа, когда вокруг зарокотало: «Был ли ты рядом, когда распинали Христа?» – и тут я споткнулась о ногу, выставленную с детской скамьи. Запнувшись, я начала что-то говорить, а может, кричать, но незрелый мандарин – а может, лимон – вдруг возник у меня между ног и брызнул. Я ощутила его кислоту на языке, она проникла в самое горло. А потом – я не успела дойти до двери – ноги ожгло, ожог покатился в парадные носки. Я попыталась его удержать, вдавить обратно, замедлить, но на церковном крыльце поняла: придется отпустить, иначе он хлынет назад в голову и бедная моя голова лопнет, как если уронить арбуз, а мозги, слюна, язык и глаза раскатятся во все стороны. Я побежала через двор, уже не сопротивляясь. Я бежала, писала и плакала, бежала не к нужнику на задворках, а назад к своему дому. Выдерут меня теперь, это уж точно, а у мерзких крысят появится новый повод меня подразнить. И все же я смеялась, в том числе и от сладости облегчения; но радость эта родилась не только из

освобождения от дурацкой церкви, но и от сознания того, что голова не лопнет и я не умру.

Расти чернокожей девочкой в южном штате и без того мучительно, но если при этом еще и сознаешь свою инакость – это как ржавчина на лезвии бритвы, что грозит вонзиться в горло.

Это незаслуженная боль.

1

Когда мне было три года, а Бейли – четыре, нас доставили в захолустный городок, и на запястьях у нас висели бирки с инструкцией – «Заявления», – что мы, Маргарита и Бейли Джонсон, несовершеннолетние, из Лонг-Бич в Калифорнии, направляемся в Стэмпс в штате Арканзас на попечение миссис Энни Хендерсон.

Наши родители решили положить конец бурно-бессчастному браку, и папа отправил нас к себе на родину, в дом своей матери. Присматривать за нами поручили какому-то носильщику – он на следующий день сошел с поезда в Аризоне, – а билеты прикрепили булавкой к внутреннему карману братишкиного пальто.

Из этой поездки мне запомнилось мало, но, когда мы добрались до южных краев, где белые и Черные ездят отдельно, стало, видимо, повеселее. Чернокожие пассажиры, которые не отправлялись в дорогу, не прихватив с собой еды, жалели «бедненьких сиротинушек» и закармливали нас холодной жареной курицей и картофельным салатом.

Много лет спустя я выяснила, что перепуганные чернокожие детишки тысячи раз пересекали территорию Соединенных Штатов, направляясь без сопровождения к разбогатевшим родителям в городах на Севере или обратно к бабушкам в городки на Юге – когда на урбанизированном Севере начинался экономический спад.

Городок отреагировал на нас так же, как его обитатели и до нашего прибытия реагировали на любые новинки. Потаращился на нас без любопытства, но с опаской, а когда стало ясно, что угрозы мы не представляем (дети ведь), заключил нас в объятия – так настоящая мать обнимает чужого ребенка. С теплотой, но без родственных чувств.

Мы с бабушкой и дядей жили на задах Лавки (слово всегда звучало будто с большой буквы), которой бабушка владела уже лет двадцать пять.

В самом начале века Мамуля (мы очень быстро отвыкли звать ее бабушкой) кормила обедами рабочих с лесопилки (в восточной части Стэмпса) и соседнего хлопкозавода (в западной части Стэмпса). Успеху ее предприятия немало способствовали хрустящие мясные пироги и холодный лимонад, а еще – сверхъестественная бабулина способность находиться в двух местах одновременно. Начинала она с передвижного лотка, потом открыла киоск в стратегической точке между двумя предприятиями – и несколько лет продавала свои обеды оттуда. А потом построила Лавку в самом центре негритянского квартала. Годы шли, и Лавка стала центром городской жизни. По субботам цирюльники располагались вместе с клиентами в тенечке на крыльце Лавки, а трубадуры в своих безостановочных перемещениях по всему югу устраивались на скамейках и пели печальные песни про «братишек», подыгрывая себе на губных гармошках и самодельных гитарах.

Официальное название Лавки звучало так: «Универсальный магазин Вм. Джонсона». Торговали здесь основными продуктами, имелся изрядный выбор цветных ниток, отруби для свиней, зерно для куриц, керосин для ламп, электрические лампочки для богатеньких, шнурки, помада для волос, воздушные шарики и цветочные семена. Если чего не находилось, можно было заказать.

Пока мы не обвыклись и не стали частью Лавки, а она – частью нас, нам казалось, что нас заперли в ярмарочном балагане с диковинками, а служитель ушел домой, причем навсегда.

Каждый год я наблюдала за тем, как поле напротив Лавки делается зеленым, как гусеница, а потом будто бы подергивается изморозью. Я знала в точности, через какой срок во двор въедут вместительные фургоны и туда на заре погрузятся сборщики хлопка – их повезут на остатки плантаций времен рабства.

В сезон сбора хлопка бабушка вставала в четыре утра (будильником она никогда не пользовалась), тяжело опускалась на колени и бормотала сонным голосом: «Благодарю Тебя, Отец Небесный, что дал мне увидеть новый день. Благодарю Тебя, что постель, куда я легла прошлым вечером, не стала моим смертным ложем, а одеяло – саваном. Направь стопы мои нынче по праведному пути и помоги обуздать мне язык мой. Благослови этот дом и всех его обитателей. Благодарю тебя, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, аминь».

Еще не до конца поднявшись, она звала нас по имени, раздавала указания, засовывала громадные ступни в самодельные домашние туфли и шлепала по голым, намытым щелоком половицам зажигать керосиновую лампу.

В свете лампы, горевшей в Лавке, мир казался смутным и ненастоящим – мне от этого хотелось говорить шепотом и ходить на цыпочках. Запахи лука, апельсинов и керосина смешивались всю ночь невозбранно – пока на дверях не потянут деревянную щеколду и внутрь не ворвется воздух раннего утра, а с ним – тела людей, которые прошли много миль, чтобы попасть к месту сбора.

– Сестра, мне две банки сардин.

– Уж я так сегодня на работе разгонюсь – ты будто на месте стоять будешь.

– Мне сыра шматочек, да к нему крекеров.

– А мне пару шоколадок с арахисом, да чтоб не мелкие.

Это говорил сборщик, который заранее приготовил еду на обед. Мешок из оберточной бумаги, в жирных пятнах, торчал из-под нагрудника его комбинезона. Шоколадки пойдут ему на перекус еще до того, как полуденное солнце позовет всех на отдых.

В эти ласковые утра в Лавке смеялись, шутили, хвастались и выхвалялись. Один намеревался собрать двести фунтов хлопка, другой – триста. Даже дети обещали принести домой четыре бита (то есть полдоллара) или цельных шесть.

Тот, кто накануне собрал больше всех, был героем зарождающегося дня. Если он предрекал, что хлопка на сегодняшнем поле будет небогато и в коробочках он

будет сидеть как приклеенный, все дружно кивали в ответ.

В шорох пустых мешков для хлопка, которые тащили по полу, в бормотание пробуждавшихся людей вторгались позвякивания кассы, пробивавшей пятицентовые чеки.

Если в утренние часы звуки и запахи отдавали чем-то потусторонним, к концу дня они приобретали вкус повседневной арканзасской жизни. В меркнущем свете солнца люди тащились сами, а не тащили пустые мешки для хлопка.

Сборщики, привезенные назад в Лавку, выходили через заднюю дверь из фургонов и оседали в непомерном разочаровании на землю. Сколько ни собери, все недостаточно. Заработанного не хватит, даже чтобы отдать долги нашей бабушке, не говоря уж про сногсшибательный счет, который дожидался в белом магазине в центре города.

Бодрые утренние звуки сменялись на ворчание по поводу наемных контор-обманщиков, недовесов, змей, плохого урожая и пыли на полях. В будущем я с таким неистовством возмущалась стереотипной картинкой – счастливые сборщики хлопка поют бодрую песню, – что даже собратья-чернокожие мне часто говорили: да ну тебя с твоей паранойей. Но я видела пальцы, изрезанные колючими хлопковыми коробочками, видела спины, плечи, руки и ноги, изнуренные до предела.

Некоторые сборщики оставляли мешки в Лавке до следующего утра, другие забирали их домой, в починку. Мучительно было думать, как они штопают жесткую ткань при свете керосиновой лампы – пальцы занемели после долгой работы. Всего несколько часов – и им снова шагать к Лавке сестры Хендерсон, а потом, прихватив еды, снова грузиться в фургон. А впереди – еще один день, который пройдет в попытке заработать на весь год, и давящее сознание того, что закончат они сезон сбора с тем же, с чем и начали. Без денег, без кредита, на который можно прокормить семью три месяца. В предвечерние часы в сезон сбора хлопка тяготы жизни чернокожих южан проступали особенно отчетливо, только по утрам эти тяготы смягчались подарками природы: одурманенностью, забывчивостью, мягким светом лампы.

2

Когда Бейли было шесть, а мне – на год меньше, таблицу умножения мы выпаливали с той же скоростью, с какой – это я позднее видела в Сан-Франциско – дети-китайцы щелкали на счетах. Наша светло-серая бокастая печурка раскалялась зимой докрасна и превращалась в серьезную дисциплинарную угрозу, если мы вдруг распускались, глупели и начинали допускать ошибки.

Дядя Вилли сидел гигантской черной загогулиной (он был инвалидом с детства) и слушал, как мы подтверждаем способность государственных школ округа Лафайет дать детям приличное образование. Левая сторона дядиного лица свисала вниз, как будто к нижней губе прикрепили трос, а левая рука была разве что чуточку больше, чем у Бейли, но на второй ошибке иле на третьей запинке его здоровенная правая рука-переросток хватала одного из нас за шкирку и швыряла в направлении тускло-красной печурки, пульсировавшей, будто больной зуб у дьявола. Мы не обожглись ни разу, хотя однажды меня едва пронесло – я со страху попыталась вспрыгнуть на печь: лучше реальность, чем непонятная угроза. Как и почти все дети, я считала, что, если добровольно взглянуть в лицо любой опасности и одолеть ее, можно навеки приобрести над нею власть. Но в этом случае мое безрассудное самопожертвование было пресечено. Дядя Вилли крепко держал меня за платье, и я лишь вдохнула в непосредственной близости сухой и чистый запах горячего железа. Мы заучивали таблицу умножения, не понимая величия ее устройства, просто потому что нам это было по силам, а выбора не предоставлялось.

В трагедии хромоты детям видится такая страшная несправедливость, что она ввергает их в смущение. Поскольку они едва вышли из горнила природы, они сознают, что и сами запросто могли оказаться в числе ее просчетов. Радуясь, что не оказались, они выпускают накопившийся пар в форме нетерпимого и предвзятого отношения к неудачникам-калекам.

Мамуля бессчетное количество раз – и без проявления каких-либо чувств – рассказывала нам, как в три года дядю Вилли уронила нянчившая его женщина. На няньку она, похоже, зла не держала – это ж Господь попустил, чтобы так случилось. Мамуля считала необходимым снова и снова втолковывать всем, кто давно выучил эту историю наизусть, что дядя такой «не от роду».

В нашем кругу, где двуногие и двурукие крепкие чернокожие мужчины с трудом зарабатывали на самое необходимое, дядя Вилли в его накрахмаленных рубашках, начищенных башмаках и с полным буфетом еды был мальчиком для битья и насмешек для всех безработных и малоимущих. Судьба не только лишила его здоровья, но еще и возвела на его пути двойную преграду. Был он, помимо прочего, заносчив и чувствителен. А значит, не мог притворяться, что никакой он не калека, не мог обманывать себя мыслью, что его увечье других не отталкивает.

Я долгие годы старалась за ним не наблюдать – и лишь один раз видела, как он скрывает от себя и других свою хромоту.

Вернувшись в один прекрасный день из школы, я увидела в нашем дворе автомобиль насыщенного цвета. Вбежала в дом и обнаружила там незнакомца с незнакомкой (дядя Вилли потом пояснил, что они – школьные учителя из Литтл-Рок), которые пили «Доктора Пеппера» в прохладном помещении Лавки. Я сразу ощутила: что-то не так – будто зазвонил будильник, которого никто не ставил.

Я быстро сообразила, что дело не в незнакомцах. Не то чтобы очень часто, но не так уж редко проезжие сворачивали с шоссе, чтобы закупиться в единственной негритянской лавке Стэмпса табаком или газировкой. Я глянула на дядю Вилли и поняла, что именно дергает за подол моего мозга. Он стоял за стойкой совершенно прямо, не наклоняясь вперед, не опираясь на полочку, которую прибили специально для него. Стоял прямо. Глазами он впился в меня – со смесью угрозы и мольбы.

Я воспитанно поздоровалась с незнакомцами и обшарила зал глазами в поисках дядиной палки. Не увидела. А дядя сказал:

– Э-э… это-это… это… э-э, моя племянница. Она… э-э… только из школы вернулась. – А потом – посетителям: – Вы же знаете… как оно с детишками… т-т-теперь бывает… весь д-д-день в школе играются, а потом шасть домой – и иг-г-граются дальше.

Посетители улыбнулись, очень дружелюбно.

А дядя добавил:

– Иди в д-дом играться, сестренка.

Дама рассмеялась и с мягким арканзасским выговором произнесла:

– Ну, говорят же, мистер Джонсон: детство бывает в жизни только раз. А у самого у вас дети есть?

Дядя Вилли бросил на меня нетерпеливый взгляд – такого я у него не видела, даже когда он в течение получаса шнуровал свои высокие ботинки.

– Я… сказал же тебе… иди в дом играться.

Выходя, я заметила, как он снова прислонился к полкам с жевательным табаком – «Гаррет», «Принц Альберт» и «Спарк-плаг».

– Н-нет, мадам… ни детишек, ни жены. – Он выдавил смешок. – Только старенькая м-м-мама и д-д-двое д-детишек брата на попечении.

Хочет выставить себя в лучшем свете за наш счет – ну и ладно. Собственно, если бы ему это понадобилось, я бы с радостью прикинулась его дочерью. Во-первых, я не испытывала решительно никакой привязанности к собственному отцу, а во-вторых, давно сообразила, что, будь я дочерью дяди Вилли, со мной обращались бы куда лучше.

Пара вышла несколько минут спустя, я смотрела из задней комнаты, как красный автомобиль распугал куриц, поднял столб пыли и умчался в сторону Магнолии.

Дядя Вилли продвигался по длинному полутемному проходу между полками и прилавком, будто постепенно очухиваясь от сна. Я стояла недвижно, смотрела, как он отшатывается от одной стороны, ударяется о другую – и вот он добрался до цистерны с керосином. Запустил руку в темный проем у стены, вытащил палку, сжал ее в сильном кулаке, перенес вес тела на деревянную подпорку. Ему, видимо, казалось, что все вышло лучше некуда.

Я так никогда и не узнала, почему ему было так важно, чтобы эти двое (впоследствии он сообщил, что никогда их раньше не видел) унесли с собой в

Литтл-Рок образ совершенно здорового мистера Джонсона.

Видимо, его утомило быть калекой, как заключенных утомляют решетки тюрьмы, а виноватых утомляет стыд. Высокие ботинки и палка, неподвластные ему мышцы и непослушный язык, сменяющие друг друга презрение и жалость во взглядах, видимо, изнурили его окончательно, и вот на один день, на часть одного дня, он захотел от них избавиться.

Я это поняла, и в тот момент он был мне роднее, чем когда-либо до или после.

В годы, проведенные в Стэмпсе, я познакомилась с Уильямом Шекспиром и влюбилась в него. Он стал первым белым, которого я полюбила. Да, я ценила и уважала Киплинга, По, Батлера, Теккерея и Хенли, а безоглядную юную страсть я приберегла для Пола Лоренса Данбара, Лэнгстона Хьюза, Джеймса Уэлдона Джонсона и «Литании в Атланте» В. Э. Б. Дюбуа. Но именно Шекспиру принадлежали слова: «Когда в раздоре с миром и судьбой»[2 - Первая строка сонета У. Шекспира в переводе С. Я. Маршака.]. Мне это состояние было привычнее всех остальных. Что касается его принадлежности к белым, я утешала себя тем, что он ведь умер так давно, что теперь нет уже решительно никакой разницы.

Мы с Бейли задумали выучить наизусть одну сцену из «Венецианского купца», но сообразили, что Мамуля начнет расспрашивать нас про автора и придется ей сказать, что Шекспир был белым – а для нее не будет решительно никакой разницы, умер он или нет. Поэтому мы остановились на «Творении» Джеймса Уэлдона Джонсона.

3

Отвесить ровно полфунта муки, не учитывая веса совка, пересыпать ее, не распылив, в тонкий бумажный мешочек – для меня это было незамысловатым, но все-таки приключением. Я научилась на глазок определять, сколько нужно набрать в серебряный с виду половник муки, отрубей, крупы, сахара или кукурузы, чтобы стрелка весов дошла ровно до восьми унций или одного фунта. Если получалось совсем точно, покупатели выражали свое восхищение: «Экие у сестры Хендерсон внучата головастые». Если выходил недовес, остроглазые

женщины требовали: «Досыпь-ка в мешочек, детка. Не пытайся тут на мне выгадывать».

В таких случаях я тихо, но упорно себя наказывала. За каждую оплошность полагался штраф: никаких «поцелуйчиков» в серебряной обертке – сладких шоколадных капелек, которые я любила сильнее всего на свете, кроме Бейли. Ну, и, наверное, консервированных ананасов. Пристрастие к ананасам доводило меня до исступления. Я мечтала о том дне, когда вырасту и куплю целый ящик – для себя одной.

Хотя золотистые кольца в сиропе в экзотических банках стояли на наших полках круглый год, попробовать их доводилось только на Рождество. Сок Мамуля добавляла в почти полностью черные фруктовые кексы. А потом выкладывала на тяжелые, присыпанные золой железные противни ананасовые колечки – получались, когда перевернешь, очень вкусные кексы. Нам с Бейли доставалось по одному ломтю, и я свой таскала за собой часами, выколупывая фрукты, пока не останется ничего, кроме упоительного запаха на пальцах. Хочется думать, что моя тяга к ананасам была настолько священна, что я никогда не позволила бы себе стянуть банку (что, в принципе, было осуществимо) и опустошить ее в одиночестве в саду, – но правда и то, что я, видимо, побаивалась, что меня выдаст запах, вот и не решалась даже попробовать.

До тринадцати лет, когда я навсегда уехала из Арканзаса, Лавка была моим любимым местом. По утрам, пустая и одинокая, она казалась неоткрытым подарком, полученным от незнакомца. Распахнуть входную дверь было все равно что стянуть ленточку с неожиданного дара. Внутрь лился неяркий свет (окна выходили на север), разливаясь по полкам, где стояли макрель, лосось, табак, пряжа. Свет плоско ложился на большую кадку с жиром – летом к середине дня он разжижался до состояния густого супа. Входя в Лавку в середине дня, я ощущала, что она притомилась. Одна лишь я слышала медленное биение: день прожит до середины. А перед тем как мы отправлялись спать – с утра до ночи бесконечные покупатели входили и выходили, спорили по поводу чеков, или шутили по поводу соседей, или просто заглядывали «понаведаться, как там у сестры Хендерсон делишки», – в Лавку возвращалось предчувствие нового волшебного утра, разливалось по всему нашему семейству набегающими волнами жизни.

Мамуля вскрывала коробки с крекерами, мы усаживались у мясного прилавка в дальнем конце Лавки. Я резала лук, Бейли открывал две, а то и три банки с

сардинами, давал маслянистому соку стечь по краям, по изображениям рыбачьих суденышек. Так выглядел наш ужин. По вечерам, когда мы вот так вот оставались в своем кругу, дядя Вилли не запинался, не трясся и ничем не напоминал о своей «немощи». Как будто мир, воцарявшийся под конец дня, был подтверждением того, что соглашение, которое Господь заключил с детьми, чернокожими и калеками, все еще продолжает действовать.

Среди прочего, в наши вечерние обязанности входило разбросать лопатой зерно для куриц и смешать сухие отруби с объедками и маслянистой водой, в которой вымыли посуду, – на корм свиньям. Мы с Бейли брели по закатным тропкам в свинарник и, забравшись на первую перекладину ограды, выливали неаппетитное месиво благодарным свиньям. Они зарывались нежными розовыми пятачками в это пойло, пофыркивали и похрюкивали от удовольствия. Мы похрюкивали в ответ – и не то чтобы в шутку. Мы тоже были благодарны за то, что самое грязное дело позади, а вонючая жижа только и попала, что на ботинки, чулки, ноги и руки.

Как-то в конце дня, когда мы кормили свиней, я услышала во дворе лошадиное ржание (в принципе, двор был скорее подъездной дорожкой, вот только не было машины, чтобы по нему подъезжать) – и помчалась выяснять, кто это приехал верхом вечером четверга, когда даже мистер Стюарт, немногословный и угрюмый владелец собственной верховой лошади, наверняка сидит у горящего очага и никуда не двинется, пока утро не призовет его обратно в поле.

Бывший шериф залихватски сидел в седле. Безразличием своим он выражал авторитет и власть даже над бессловесными тварями. А уж над чернокожими он властен и подавно. Тут и говорить не о чем.

Его гнусавый голос заплясал в студеном воздухе. Мы с Бейли слышали из-за угла лавки, как он говорит Мамуле:

– Энни, скажи Вилли, чтоб никуда сегодня не высовывался. Какой-то черномазый псих нынче белую даму обидел. Попозже сюда парни заявятся.

Столько медленных лет с тех пор прошло, а я все помню привкус страха, заполнивший мне рот горячим сухим воздухом, сделавший тело невесомым.

«Парни»? Цементные лица и безжалостные глаза, прожигавшие на тебе одежду, стоило им увидеть тебя на главной улице в центре города в субботу. Парни? Вид такой, будто юность их миновала. Парни? Нет уж, здоровые мужики, присыпанные могильной пылью старости, – ни красоты, ни знаний. Уродство и гниль дряхлой гнуси.

Если в Судный день призовет меня святой Петр свидетельствовать по поводу этого доброго дела бывшего шерифа, я не смогу сказать ни слова в его защиту. Его уверенность в том, что и мой дядя, и все остальные чернокожие мужчины, услышав про замыслы Клана, разбегутся по домам и зароются в куриный навоз, звучала слишком унизительно. Не став дожидаться Мамулиной благодарности, он выехал со двора в полном убеждении, что поступил порядочным образом, что он этакий милостивый господин, который только что спас приближенных рабов от законов страны, которым потворствовал.

В тот же миг – еще не отгремел топот копыт – Мамуля задула все керосиновые лампы. Негромко, настойчиво переговорила с дядей Вилли и кликнула нас с Бейли в Лавку.

Нам велено было вытащить картофель и лук из ящиков, выбить в них внутренние разделители. Потом, с мучительной и боязливой медлительностью, дядя Вилли передал мне свою палку с резиновым наконечником и нагнулся, чтобы забраться в ставший просторным пустой ящик. Прошла целая вечность, прежде чем он смог улечься туда; мы набросали сверху лука и картошки, слой за слоем, как в кастрюле с рагу. Бабушка встала в темной Лавке на колени и начала молиться.

Нам повезло: «парни» не ворвались в тот вечер в наш двор и не потребовали, чтобы Мамуля открыла Лавку. Они наверняка обнаружили бы дядю Вилли и столь же наверняка линчевали бы. Он всю ночь стонал – можно было подумать, он действительно повинен в каком-то гнусном преступлении. Тяжкие звуки пробивались сквозь покров из овощей, и мне виделось, как рот его свисает на правую сторону, как слюна заливает глазки? молодым картофелинам и, подобно каплям росы, остается ждать утреннего тепла.

Чем один городок на Юге отличается от другого, или от городка или деревни на Севере, или от городского многоквартирного дома? Ответ, видимо, таков: опытом, который разделяет не знающее ответа на этот вопрос большинство («оно») и знающее меньшинство («ты»). Все детские вопросы без ответов рано или поздно переадресуются городку, там на них отвечают. Герои и злодеи, ценности и предубеждения – всё впервые познается и наделяется ярлыками в такой обстановке. Впоследствии меняются лица, места, порой даже расы, уловки, приверженности и цели, но под этими проницаемыми масками навеки остаются лица детства в шапочках с помпонами.

Мистер Макэлрой, который жил в большом неопрятном доме рядом с Лавкой, был очень высок и могуч, и, хотя годы подъели плоть у него на плечах, они не успели – в те времена, когда я его знала, – добраться до выпуклого живота, до рук или ног.

Он был единственным знакомым мне чернокожим – за исключением директора школы и заезжих учителей, – который носил брюки и пиджак из одного материала. Когда я узнала, что мужскую одежду именно так и продают и это называется «костюмы», я, помнится, порешила, что кто-то очень умный додумался до такой штуки: в таком виде мужчины выглядят менее мужественными, менее угрожающими и чуть больше похожи на женщин.

Мистер Макэлрой никогда не смеялся, улыбался редко, а еще – нужно отдать ему должное – любил разговаривать с дядей Вилли. Он никогда не ходил в церковь – по нашему с Бейли мнению, это свидетельствовало об исключительной отваге. Как было бы здорово расти вот так – презрительно поглядывая на религию сверху вниз, особенно если живешь по соседству с таким человеком, как наша Мамуля.

Я следила за ним, постоянно предвкушая, что он того и гляди что-нибудь да выкинет. Это никогда не надоедало, не разочаровывало, не развеивало очарования, хотя с высокой жердочки нынешнего возраста я вижу лишь очень незамысловатого, малоинтересного человека, который продавал патентованные лекарства и укрепляющие снадобья самым невзыскательным жителям городков (деревень), окружавших крупный город Стэмпс.

У мистера Макэлроя и бабушки, похоже, сложилось взаимопонимание. Мы пришли к этому выводу по той причине, что он никогда не прогонял нас со своего участка. Летом, в свете предзакатного солнца, я часто сидела у него во

дворе под мелией, в облаке горьковатого запаха ее плодов, убаюканная жужжанием мух, которые слетались на ягоды. Он же покачивался в гамаке на террасе, в своем коричневом костюме-тройке, а широкая панама кивала в такт гудению насекомых.

Больше, чем поздороваться раз в день, нам от мистера Макэлроя ничего не перепадало. Обронив: «Доброе утро, девочка» или: «Добрый день, девочка», он уже не произносил ни слова, даже если мы снова встречались на дорожке у его дома или у колодца или натыкались на него за домом, куда забегали во время игры в прятки.

Все мое детство он оставался загадкой. Человек, который владел участком земли и большим домом со множеством окон и с верандой: она шла по периметру, лепилась к стенам со всех сторон. Самостоятельный негр. Для Стэмпса – почти анахронизм.

Главным человеком в моем мире был Бейли. То, что он приходился мне братом, единственным братом, без всяких сестер, с которыми им пришлось бы делиться, представлялось такой удачей, что мне хотелось жить, как положено хорошей христианке, ради одного того, чтобы выразить Богу свою благодарность. Я была крупной, угловатой, неловкой, он – маленьким, грациозным, складным. Про меня другие ребята говорили, что я «цвета дерьма», но всем нравилась его бархатисто-черная кожа. Его волосы спадали на шею воронеными завитками, на моей голове росла черная проволока. Тем не менее он меня любил.

Когда старшие родственники неодобрительно отзывались о моей внешности (остальные в семье были хороши собой, и это меня мучило), Бейли подмигивал мне с другого конца комнаты, и я знала: он обязательно улучит момент, чтобы с ними сквитаться. Он давал старушкам вволю поахать на предмет того, как же я такая уродилась, а потом понаведывался, голоском, похожим на застывающий жир от бекона:

– Мизериз Колман, а как там ваш сын? Я тут его вчера встретил, совсем больной с виду – того и гляди умрет.

Старушки, опешив, сыпали вопросами:

– Умрет? От чего? Вовсе он не болен.

Голоском еще более масленым, чем раньше, и не меняясь в лице, Бейли отвечал:

– От уродства.

Чтобы сдержать смех, я прикусывала язык, скрипела зубами, старательно стирала с лица любое подобие улыбки. А потом, за домом, под ореховым деревом, мы заходились от хохота и воя.

Бейли очень редко попадало за его неизменно беспардонное поведение – дело в том, что он был гордостью семейства Хендерсонов-Джонсонов.

Его движения – так он впоследствии описал движения одного знакомого – напоминали безупречный ход хорошо смазанного механизма. Кроме того, он умудрялся обнаружить в сутках столько часов, сколько мне и не снилось. Успевал сделать работу по дому и школьные задания, прочитать больше моего книг и поиграть на склоне холма в самой отборной компании. Он даже умел вслух молиться в церкви, а также таскать маринованные огурцы из бочки, которая стояла под фруктовым прилавком и прямо под носом у дяди Вилли.

Однажды в обеденный час, когда в Лавке было полно покупателей, он опустил сито, в котором мы обычно просеивали крупу и муку, в эту самую бочку и выловил два толстеньких огурца. Достал их и повесил сито сбоку на бочку – огурцы так и остались там стекать. Когда прозвенел звонок с последнего урока, он забрал из сита почти совсем обсохшие огурцы, засунул в карманы, а сито забросил за апельсины. Мы выбежали из Лавки. Стояло лето, штанишки на Бейли были короткие, на запыленных ногах остались яркие дорожки от маринада, сам он подпрыгивал – карманы топорщатся от добычи, – а глаза смеялись: «Ну, каково?» Пахло от него, как от бочонка с уксусом или как от ангела в кислом настроении.

После того как мы управлялись с утренними делами по хозяйству, а дядя Вилли с Мамулей уходили торговать в Лавку, нам разрешали пойти поиграть с одним условием: чтобы нас можно было докричаться. Когда мы играли в прятки, голос Бейли, легко опознаваемый, выпевал: «Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват! Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать опять! Кто не спрятался, я не виноват!» Как прирожденный вожак, он, понятное дело, придумывал самые захватывающие и озорные игры. А когда он оказывался кончиком бича в игре «Щелкни бичом», то вертелся, точно волчок, крутился,

падал, хохотал, останавливался ровно за секунду до того, как остановилось бы от страха мое сердце, а потом возвращался в игру, хохоча по-прежнему.

Из всех потребностей (среди них – ни одной надуманной), которые возникают у брошенного ребенка и которые необходимо удовлетворить, чтобы не сгинула надежда вообще и надежда на благополучие, самой неколебимой является потребность в неколебимом Боге. Мой дивный чернокожий брат стал моим Царствием небесным.

В Стэмпсе принято было «закрывать» в банки все, что худо-бедно подлежит консервированию. В сезон забоя скота – после первых заморозков – соседи помогали друг другу резать свиней и даже ласковых большеглазых коров, если они переставали доиться.

Дамы-миссионерши из Христианской методистской епископальной церкви помогали Мамуле подготовить начинку для колбасы. Они по локоть засовывали полные руки в свиной фарш, смешивали его с серым щекочущим нос шалфеем, перцем и солью и делали вкусные пробные колбаски для всех послушных детишек, которые приносили дрова для гладкой черной печки. Мужчины отрубали от туш более крупные куски и закладывали их в коптильню. Вскрывали в окороках суставы смертоносного вида ножами, вытаскивали определенную круглую безобидную косточку («от нее мясо может попортиться») и втирали соль, крупную бурую соль, похожую на мелкий гравий, прямо в плоть – кровь каплями выступала на поверхности.

Весь год, до следующих заморозков, еда к нашему столу бралась из коптильни, из огородика, который приютился прямо рядом с Лавкой, и с полок, где хранились закрытые банки. От выбора на полках слюнки потекли бы у любого проголодавшегося ребенка. Зеленая фасоль – стручки обрезаны до нужной длины, листовая и белокочанная капуста, мясистые помидоры в собственном соку, которые были особенно хороши на горячих сухариках с маслом, а еще – колбаса, свекла, варенья из ягод и всех фруктов, какие только растут в Арканзасе.

При этом раза два в год Мамуля приходила к выводу, что нам, детям, нужно включать в рацион свежее мясо. Нам давали мелочи – монеток по пять и десять центов, поручались они Бейли – и отправляли в город за печенью. Поскольку у белых имелись холодильники, их мясники покупали мясо на больших бойнях в Тексаркане и продавали богатеньким даже в самый разгар лета.

Пересекая негритянский район Стэмпса, который в рамках наших узких детских горизонтов казался целым миром, мы вынуждены были, по обычаю, поговорить со всеми встречными – а Бейли еще полагалось по несколько минут поиграть с каждым из друзей. Радостно было направляться в город, имея деньги в кармане (карман Бейли я, по большому счету, считала и своим) и время в запасе. Но вся радость улетучивалась, едва мы добирались до белой части города. После трактира «Заходи!», принадлежавшего мистеру Вилли Уильямсу, – последней остановки перед миром белых – нужно было пересечь пруд и преодолеть железнодорожные пути. Мы чувствовали себя первопроходцами, ступавшими без оружия в руках на территорию, заселенную хищниками-людоедами.

Сегрегация в Стэмпсе была настолько безоговорочной, что большинство чернокожих ребятишек вообще, абсолютно не представляли себе, как выглядят белые. Знали лишь, что они другие, страшные – и в этот страх включалась враждебность угнетенных к угнетателям, бедных к богатым, работников к работодателям, оборванцев к хорошо одетым.

Помню, я вовсе не верила в то, что белые – по-настоящему настоящие.

К нам в Лавку ходили многие женщины, работавшие у них домашней прислугой, и когда они несли выстиранное белье обратно в город, то часто ставили вместительные корзины у нашего крыльца и вытаскивали из накрахмаленной груды какой-нибудь предмет – похвалиться либо ловкостью своей глажки, либо богатством и великолепием вещей своих нанимателей.

Я же смотрела на те предметы, которые не принято выставлять напоказ. Знала, например, что белые мужчины носят длинные трусы, как и дядя Вилли, что там есть отверстие, чтобы вытаскивать «причиндал» и писать, что груди у белых женщин не вшиты в платья, как я от кого-то слышала, потому что я видела в корзинах их бюстгальтеры. Но заставить себя видеть в белых людей я не могла. Людьми были миссис Лагрон, миссис Хендрикс, Мамуля, достопочтенный Снид, Лилли-Би, Луиза и Рекс. А белые не могли быть людьми – куда им с такими маленькими ногами, с такой белой прозрачной кожей, с их привычкой ходить не на подушечках пальцев, как это принято у людей, а на пятках, как лошади.

Людьми были жители моей части города. Не все они мне нравились – по сути, не нравились почти все, однако же они были людьми. А эти другие странные белесые существа жили своей потусторонней нежизнью и людьми не считались.

Были просто белыми.

5

«Не будь грязнулей» и «Не дерзи» – таковы были две заповеди бабули Хендерсон, от которых всецело зависело наше спасение на небесах.

Каждый вечер, даже в самую лютую зимнюю стужу, нам полагалось перед сном мыть лицо, руки, шею, ступни и ноги. К этому бабуля добавляла с ухмылкой, которую богобоязненным людям не согнать с лица, когда они произносят нечто небогобоязненное: «Мойте до самого дальше некуда и дальше некуда мойте тоже».

Мы шли к колодцу и мылись ледяной чистой водой, мазали ноги таким же ледяным, застывшим вазелином, затем на цыпочках пробирались в дом. Смахивали пыль со ступней, а за этим следовали домашние задания, кукурузные лепешки, простокваша, молитва и отход ко сну – всегда в одной и той же последовательности. У Мамули был безотказный прием: стаскивать с нас одеяла, когда мы заснем, чтобы проверить чистоту ног. Если она находила их грязными, она брала прут (который держала за дверью спальни на крайний случай) и будила грязнулю несколькими жгучими напоминаниями по самым чувствительным местам.

Земля у колодца была по вечерам темной и блестящей, мальчишки рассказывали, что змеи любят воду – все, кто по темноте ходил за водой, а потом задерживался у колодца помыться, знали, что щитомордники и гремучие змеи, гадюки и питоны уже ползут к колодцу и доберутся до места в тот самый миг, когда умывающемуся попадет мыло в глаза. Однако Мамуля постоянно убеждала нас, что чистоплотность сродни богобоязненности, а грязь, напротив, – источник всех несчастий.

Ребенок, который дерзит взрослым, противен Богу и позор для своих родителей, способен сгубить семью и весь свой род. Ко взрослым нужно обращаться так: мистер, миссус, мисс, тетушка, родич, дядь, дядя, бабуля, сестра, брат – а кроме того, существуют еще тысячи обозначений родства и почтительности со стороны говорящего.

Все, кого я знала, уважали эти общепринятые правила, за вычетом белошвальной детворы.

Несколько семейств «белой швали» жили на принадлежавшей Мамуле земле за школой. Случалось, что белошвальники ватагой вваливались в Лавку, заполняли все пространство, замещали собой воздух и даже меняли привычные запахи. Малышня ползала по полкам, по ящикам с картофелем и луком, голоса их бряцали, как самодельные гитары. В моей Лавке они позволяли себе то, чего я не позволила бы себе никогда. А поскольку Мамуля нас учила: чем меньше говорить с белыми (даже с белошвальниками), тем лучше, мы с Бейли просто стояли, спокойно и серьезно, в незнакомом воздухе. Впрочем, если кто-то из этих шкодливых призраков подбирался слишком близко, я его щипала. Частично – от злости и нервов, частично – потому, что не считала его плоть настоящей.

Дядю они называли по имени и начинали тут же, в Лавке, им командовать. Мне было стыдно смотреть, как он им повинуется, в обычной своей спотыкливо-шаткой манере.

Бабушка тоже им подчинялась, вот только в ней не чувствовалось подобострастия, потому что она умела предугадать, что им нужно.

– Вот сахар, миз Поттер, а вот сода. Вы в прошлом месяце соды не купили, вам небось нужно.

Мамуля обычно обращалась только ко взрослым, но иногда – ах, какими эти «иногда» были мучительными – в ответ с ней заговаривали чумазые сопливые девчонки.

– Не, Энни… – И это Мамуле? Хозяйке земли, на которой они живут? Которая успела забыть больше, чем они за всю жизнь выучат? Если есть в этом мире хоть какая справедливость, Господь прямо сейчас поразит их немотой! – Давай-ка нам еще крекеров и еще макрели.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Здесь и далее в отдельных случаях слово negro переведено словом «негр», которое в русском языке стало просторечным (а многими считается оскорбительным) и используется как историзм. Архаизм «цветной» (colored) в отношении чернокожих в тексте также используется как историзм. – Здесь и далее примеч. ред.

2

Первая строка сонета У. Шекспира в переводе С. Я. Маршака.

Купить: https://tellnovel.com/andzhelu_mayya/poetomu-ptica-v-nevole-poet

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити